

**Открытое письмо
моему однокурснику Сереже Белоголовцеву
по поводу его эссе-воспоминания
«Дело Лейкина» ***

Дорогой Сережа!

Прежде всего, хочу сказать тебе, что ты мало изменился за последние сорок пять лет. Когда я рассматривал фотографии февральской встречи нашего курса, я поначалу узнал только четверых. Сразу узнал я только тебя и Сашу Хелемского. Ну, конечно, вы возмужали несколько. И, я бы даже сказал, прилично возмужали. Но были все-таки легко узнаваемы.

Потом мне показалось, что я узнал Сашу Рабиновича. Не потому, что он не изменился. Просто я подумал, что в такой облик не смог бы преобразоваться никто другой из наших.

И еще я разглядел на стенке свою фотографию, которую послал накануне Люде Калининой как раз с такой целью: повесить где-нибудь на стенке. И, благо фотография была сделана только несколько месяцев тому назад, легко себя узнал.

Потом я стал рассматривать наклейки с именами. И вот тут-то я узнал и всех остальных. И где-то на интернете среди всех этих фотографий я обнаружил твои воспоминания («Дело Лейкина») о том, что

* a-volovik.livejournal.com/44235.html

случилось на мехмате Московского университета в далеком 1961 году.

Сразу скажу тебе, что я прочитал эти воспоминания со смешанными чувствами. Конечно, все мы, твои однокурсники, должны быть благодарны тебе за то, что ты взялся за такой труд. И позволил нам вспомнить то беспокойное время, в котором мы жили. С другой стороны, я не всегда был вполне согласен с твоей трактовкой событий. Поэтому я и решил послать тебе письмо с изложением моей позиции, где я иногда добавляю некоторые детали этой печальной истории.

Осенью шестьдесят первого года на механико-математическом факультете Московского университета разразился политический скандал. Студент третьего курса Миша Лейкин публично выразил свои политические взгляды, которые шли вразрез с официальными, и резко критиковал тогдашнего советского лидера. Партийцы и гэбэшники рекомендовали комсомольцам исключить Мишу из своих рядов. Боясь, что исключение из комсомола повлечет за собой исключение из университета, общее собрание курса ослушалось партийцев. Те надавили посильнее. И второе собрание исключило Мишу из комсомола. Вскоре он был исключен и из университета. Вот, коротко, и вся история, которую помню я и которую ты, Сережа, описываешь в своих воспоминаниях.

«Чтобы лучше представить события, связанные с «делом Лейкина», которые происходили на мехмате

МГУ осенью 1961 года», ты, Сережа начинаешь с того, что вспоминаешь, что этому предшествовало:

1 сентября 1959 года произошло самое знаменательное событие в моей жизни. Я стал студентом мех-мата МГУ – самого престижного ВУЗа СССР. Казалось, случилось нечто невозможное: сын неграмотных глухонемых колхозников, в 10-летнем возрасте полностью потерявший зрение, мог на общих основаниях сдать 5 экзаменов и пройти по конкурсу...Этот факт произвел особенно большое впечатление на односельчанку А.И.Предтеченскую, преподавателя литературы и русского языка Сосновской средней школы Бековского района Пензенской области, где прошло мое детство. Анастасия Ивановна поместила в районной газете «Колхозник» статью с пафосным заголовком «Это может быть только в Советской стране».

Я понимаю, что не обязательно надо предполагать, что ты, Сережа, разделяешь точку зрения Анастасии Ивановны. Но, тем не менее, у меня создалось впечатление, что ты, уж по крайней мере частично, с ее словами согласен. Что я могу тебе сказать по этому поводу?

Ну, думаю, что все, чего ты добился в жизни, явилось следствием только твоих трудов и природного таланта. Но это – только во-первых. А теперь, чтобы было понятно, что еще вызывает у меня неприятие тобою сказанного, я хотел бы посмотреть на все это с другой стороны, отталкиваясь уже от твоих слов.

Для меня и моих друзей поступление на мехмат МГУ тоже представило собой самое знаменательное

событие в жизни. Нам тоже казалось, что случилось нечто невозможное. Мы были детьми образованных родителей. У кого отец, у кого мать, а у кого и оба родителя были евреями. И, тем не менее, мы смогли на общих основаниях сдать пять экзаменов и пройти по конкурсу.

По каким причинам такая неожиданность могла произойти в Советской стране, я не знаю. Но пятьдесят девятый год был самым счастливым годом для еврейских ребят. Даже в медицинские институты в этот год поступили те, кто тщетно пытались поступить туда в предыдущие годы.

Мне кажется, что когда ты, Сережа, говорил о том, что тебе удалось поступить на общих основаниях, ты допускал возможность каких-то льгот, которых у тебя либо не было, либо которыми ты не воспользовался. И ты неявно считал общие основания худшей возможностью для поступления. И у меня создается ощущение, что ты не осознавал, что для многих общие основания были только мечтой (часто несбыточной). На общие основания другим детям надо было только еще надеяться.

Один наш однокурсник, еврей, через много лет после окончания университета пытался добиться справедливости для своего сына, собирающегося поступать на мехмат. Он долго вел переговоры со своими университетскими знакомыми, которые на тот момент оказались ответственными за прием. Просил их, чтобы его сын не был дискриминирован при поступлении. В конце концов, его личное обаяние и научный вес сделали свое дело. Ему обещали, что его сын может поступать на общих основаниях.

Ты, Сережа, радовался, что тебе удалось поступить на общих основаниях, безо всяких льгот. А наш общий сокурсник радовался просто тому, что его сыну предоставили такую возможность – поступать на общих основаниях. Как сказал поэт, дьявольская разница. Не правда ли?

А вот еще одно событие, которое произошло всего за пару месяцев до нашего поступления на мехмат. В начале мая 1959 года ко мне домой зашел мой школьный товарищ Володя Сафро и сообщил, что мы с ним включены в сборную страны для участия в первой международной олимпиаде, которая должна была состояться в июле того же года в Румынии. Мы учились с ним в одном классе все десять лет. И еще вместе четыре года (с осени пятьдесят пятого до весны пятьдесят девятого) ходили на математический кружок Саши Олевского при Московском университете, с самого первого его занятия, когда еще учеников было ровно столько же, сколько преподавателей.

Учениками были Володя Сафро, Валя Вулихман, Валера Косарев и я. Все мы были из одной школы и узнали о кружке от нашей замечательной учительницы математики Веры Васильевны Кучук. Нашими преподавателями на первом занятии кружка были Саша Олевский, Валя Войтинский, Лада Маркушевич и Аркадий Львович Онищик. Так они нам представились. Ну, они представились нам по имени, то есть как Саша, Валя, Лада и Аркадий Львович. Фамилии мы их только потом узнали.

Все было очень степенно, пока Лада не задумала показать нам одну простую игру с зачеркиванием

палочек на доске. Она пригласила Аркадия Львовича сыграть против нее и стала комментировать: вот, мол, Аркадий Львович зачеркивает эти две палочки, а я вот эту одну. Аркадий Львович – одну, а я тогда две. И когда дело подошло к концу, сказала радостно: «Я зачеркиваю вот эти две палочки, и Аркашка проиграл!»

Постепенно кружковцев становилось все больше и больше. Конечно, сейчас я уже не помню имена всех. Но помню тех, кто потом поступил на мехмат. Это Валя Вулихман, Витя Фирсов, Марик Мельников, Володя Сафро, Леша Поманский, Бэла Беленькая, Гена Хенкин, Саша Хелемский, Галя Школенок, Света Озерецковская, Андрей Тоом, Юра Заславский.

Лада и Аркадий Львович недолго занимались с нами. И, начиная с какого-то времени, Саша Олевский и Валя Войтинский руководили кружком вдвоем. А когда кружковцев стало много, Валя организовал параллельный кружок. И на все оставшиеся школьные годы Саша стал нашим единственным математическим ментором. Он продолжал нас опекать и позднее, в университете.

Годы кружка были яркими и светлыми для всех нас. Мы занимались там только математикой. У нас не было субботников, не было комсомольских собраний, не было даже комсорга. И гэбэшники как-то не догадались еще наложить свою лапу на наши занятия. (А если и наложили, то тогда это никак не ощущалось.) Но все это было до поры, до времени.

Настал последний школьный год и последняя для нас школьная олимпиада при Московском университете. И вот в начале мая Володя Сафро

сообщил мне о первой международной математической олимпиаде для школьников. Он сказал мне, что команда от Советского Союза образована по результатам Московской олимпиады. И в кандидаты включены все, кто получил премии и похвальные отзывы первой степени. Но основная команда будет состоять из восьми человек.

Мы все стали заниматься сбором документов. Фотографировались для заграничного паспорта в специальной фотолаборатории где-то в центре Москвы. Получали в школе характеристики. Утверждали их в райкоме комсомола.

В райкоме мне поначалу не хотели утвердить характеристику. Или делали вид, что не хотели. На стене у них весела картина, где первый вождь Советов выступал на съезде комсомола. Они спросили меня, что это за картина. И я сказал, что это сцена после взятия Зимнего дворца. Они там все долго смеялись надо мной. И их главный сказал мне: «Сейчас везде к нашей стране пробуждается большой интерес. А вот ты поедешь в Румынию, тебя там начнут расспрашивать, а ты, оказывается, ничего не знаешь». Я не знал, что на это можно было бы ответить.

Какая-то девушка вступилась за меня. Она сказала, что я ошибся, потому что на картине кто-то был в матросской форме. И в этой моей ошибке улавливается положительная символика. И все согласно закивали головами. И они мне утвердили характеристику.

Мой друг, еще со времен кружка, Марик Мельников, сказал мне недавно, что его характеристику утверждали в горкоме комсомола. И он там увидел список нашей команды. Напротив всех

еврейских фамилий была поставлена галочка. У коммунистов и фашистов был примерно один и тот же подход для определения того, является ли человек евреем или нет. Я, например, не исповедую иудаизм (я вообще не религиозный человек) и, по крови, еврей только наполовину. Но в гэбэшном-партийном досье я числился как еврей.

Галочками, помимо меня, были отмечены Марик Мельников, Володя Сафро, Саша Хелемский, Гена Хенкин.

Володя Сафро под большим секретом тогда, в июне 1959 года, сообщил мне, что Саша Олевский сказал ему (тоже под большим секретом), что видел тот же список в Министерстве просвещения. И там, напротив все тех же фамилий карандашом была написана буква «е».

На олимпиаду никто с карандашной пометкой не поехал. Мне позвонила какая-то женщина и сказала, что команда от Советского Союза не будет участвовать в олимпиаде, потому что было очень мало времени на оформление документов.

Один из наших кружковцев, Андрей Тоом, на московской олимпиаде получил похвальный отзыв первой степени и тоже был в составе олимпийской команды. Так получилось, что на вступительных экзаменах на мехмат мы с ним сидели рядом, когда писали математику. И вот тогда-то в случайном разговоре с ним я узнал, что он и еще три человека все-таки поехали в Румынию. Я был страшно удивлен и спросил Андрея, почему же он ничего никому об этом не говорил. Андрей сказал, что, во-первых, ему не велели никому ничего говорить, а во-вторых, им

сказали, что остальные члены команды не едут, потому что они заболели.

Кроме Андрея Тоома, на олимпиаду поехали Виктор Федорец, Валерий Фролов и Четаев. Четаев не был выпускником школы. Он закончил девятый класс. Но, тем не менее, поехал на олимпиаду. Говорили, что его отец занимал какой-то важный пост в Министерстве просвещения. На олимпиаде Четаев в число победителей не попал (сужу по книжке руководительницы советской команды Е.А.Морозовой и др. «Международные математические олимпиады»). Федорец и Фролов были отмечены почетными грамотами. Андрей Тоом получил третью премию.

Я стал расспрашивать Андрея про задачи и с изумлением узнал, что там была одна, которую нам давали на московской олимпиаде в седьмом классе. Я был удивлен не столько тем, что выпускникам школы дали задачу для седьмого класса, а тем просто, что это была известная задача. И еще больше удивился, когда Андрей сказал, что он ее не решил. (Андрей, мне кажется, в седьмом классе не был на московской олимпиаде.)

В Румынию не поехали призеры Московской олимпиады Валера Каспарсон и Струнков (наши будущие однокурсники). Насколько я знаю, они не были евреями. Но, видно, этого было еще недостаточно, чтобы поехать в Румынию.

Я пишу подробно о том, что предшествовало осени 1961 года, Сережа, тоже чтобы «лучше представить события, связанные с делом Лейкина». Но видишь: тональность описания у нас получается разная.

На приемных экзаменах в университет по письменной математике, произошел казус. Я закончил писать свой вариант и заметил, что Андрей как-то подозрительно пыхтит над задачками. Я спросил у него, в чем дело. И он мне сказал, что у него получается отрицательный ответ, хотя там речь шла о каких-то станках, на которых изготовляли какие-то детали. Еще оставалось время, и я предложил Андрею дать мне посмотреть его задачку.

Я составил уравнения. Они совпали с теми, что были у Андрея. Но решение их давало отрицательное число. Я перепроверил все сначала. Никакой ошибки не было. Тогда я посоветовал Андрею написать, что один станок ломает детали. Ему это не очень понравилось. А я сказал ему, что не шучу и что я бы так и написал. На самом деле, трудно сказать, написал бы я так, если бы этот вариант попался мне. Но тогда мне казалось, что я бы так написал, поэтому я и давал такой совет Андрею.

Кажется, он не написал, что станок ломает детали и получил четверку за письменную математику. Задача его оказалась с изъясном. Письменную математику провалило слишком много народу. И на устную математику стали допускать с двойками.

Было еще одно удивительное обстоятельство, связанное с письменной математикой. Там была одна довольно громоздкая (хотя и не сложная) стереометрическая задача. И тут выяснилось, что один из наших кружковцев, Юра Заславский, писал тот же вариант, что и я. После экзамена мы сверили ответы. Они оказались разными. Это означало, что кто-то из нас не получит пятерку. Это было крайне неприятно узнать.

Я пришел домой и стал проверять свое решение снова и снова. Оно было правильным. Это означало, что у Юры была ошибка. Тем не менее, когда объявили результаты, оказалось, что и он, и я получили по пятерке.

Теперь я возвращаюсь к событиям шестьдесят первого года – к тому собранию в гостиной студенческого общежития, на котором Миша Лейкин публично выразил свои взгляды. Ты, Сережа, пишешь, что собрание в гостиной было стихийным. Я в этом очень и очень сомневаюсь. Это был один из любимых гэбэшных приемов – устраивать всякого рода провокационные диспуты, на которых они собирали сведения о настроениях участников.

Вот цитата из твоего, Сережа, воспоминания.

Он <Миша Лейкин> знал, конечно, что в любом коллективе найдутся особенно бдительные товарищи, которые посчитают должным пресечь антисоветские настроения. В гостиной среди слушателей был наш однокурсник А... Вот он то, как говорил мне Миша, и стал стукачом.

«Найдутся особенно бдительные товарищи» – это не совсем точно сказано. Считается, что около двадцати процентов людей любого коллектива сотрудничало с гэбэшниками. Я не знаю, насколько эта оценка верна. Но думаю, что она недалеко от истины. Каждый пятый стучал – это очень похоже на правду. Не думаю, что мехмат был каким-то исключением. Если в гостиной было, скажем, двадцать человек, то

разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если на твоём участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого – нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! – это просит старуха-мать. Убей немца! – это молит тебя дитя. Убей немца! – это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Эренбург служил усатому генсеку верно. И ни разу не промахнулся. И не пропустил. И был всегда нужен. Потому и уцелел.

То ли я не знал деталей заседания комсомольского бюро, о котором ты так подробно говоришь, Сережа, то ли забыл о них сейчас. Забыл я, и только вспомнил после прочтения твоего воспоминания, и о том, что именно Костюченко предложил исключить Мишу из комсомола. И о том, что он оказал нажим на членов бюро и только после этого решение об исключении Миши было все-таки принято с небольшим перевесом.

Мне Анатолий Гордеевич казался весьма либеральным человеком. Когда я сдавал ему экзамен по спецкурсу «Спектральная теория самосопряженных

операторов», он удивил меня тем, что, не задав ни единого вопроса, дал мне две задачи и отпустил на два часа на все четыре стороны.

Я помучался немного с задачами. Никаких идей не возникало. Тогда я нашел Гену Хенкина, который считался у нас тогда самым продвинутым в этой области. И попросил его мне помочь хотя бы с первой задачей, где надо было найти норму некоторого оператора. Гена подумал какое-то время и сказал, что не знает, как ее делать. На мое счастье там оказался Саша Олевский. И мы с Геной кинулись к нему. Саша, к моему большому удивлению, с задачей тоже не справился. Скорее всего, ему лень было напрягаться в тот момент (как, наверное, и Гене тоже). Саша увидел в коридоре кого-то из своих старших знакомых. Попросил его. Знакомый пробурчал что-то про преобразование Фурье и убежал. Саша поразмыслил немного и рассказал Гене, как задачу делать. Гена пересказал все мне.

Я побежал к Костюченко. Рассказал решение ему. Костюченко решение, естественно, одобрил и спросил про вторую задачу. Я сказал, что на вторую задачу у меня уже не осталось времени, поскольку я все время продумал над решением первой. Но Костюченко пристыдил меня. Он сказал: «Ну что вы мне тут сказки рассказываете. Я же вижу, что первую задачу вы сделали сразу. А со второй не справились. Так и надо было сказать». И поставил мне самую мою незаслуженную на мехмате пятерку.

Видно, либерализм был присущ Костюченко от рождения. Но реальная жизнь внесла свои коррективы. Анатолий Гордеевич был членом партийного бюро.

Пришлось жить по пословице: «Назвался груздем – полезай в кузовок». А можно сказать и более грубо: «В номерах служить – подол заворотить».

Ты, Сережа, мимоходом сообщаем нам о том, что Костюченко «известен как научный руководитель будущего ректора МГУ В.А.Садовниченко». Может быть, стоило (тоже хотя бы мимоходом) упомянуть также о том, как и чем отличился Садовнический, чтобы стать ректором?

Садовнический все годы активно работал на коммунистов, входил в парткомы мехмата и МГУ. Он занимал ответственные посты в приемной комиссии в 70-х – 80-х годах. В те времена проводилась резкая дискриминационная политика по отношению к абитуриентам-евреям. Носители математических дипломов с погонами КГБ в карманах прямо-таки зверствовали на мехматских вступительных экзаменах. Садовническому и ему подобным обязаны мальчики и девочки с еврейскими мордашками полученными моральными травмами и своими искалеченными судьбами. Но ты, Сережа, видно, не захотел «поименно вспомнить тех, кто поднял руку».

И еще одна цитата из твоего воспоминания.

Решение бюро взволновало всех студентов нашего курса. Это событие горячо обсуждалось и в перерывах между занятиями, и в общежитии зоны Б, где мы тогда жили. Многих возмущало грубое вмешательство партбюро. Некоторые намеривались дать открытый отпор такому диктату.

Не исключая, конечно, что для кого-то ситуация выглядела именно так, как ты рассказываешь, Сережа. Но, во всяком случае, не для меня. Возмуцало ли меня «грубое вмешательство партбюро»? Я никогда такое не сказал бы. Вмешательство всякого рода идиотов, полудиотов, наивных дурачков, подонков, полуподонков, и всяких других в мою жизнь стало настолько привычным для меня, что я уже устал возмущаться. Я думал только о том, как ИХ перехитрить и смягчить это вмешательство. «Открытый отпор» казался мне довольно наивным решением. В нашей компании (а компания наша – это Марик Мельников, Валя Вулихман, Леша Поманский, Бэла Беленькая, Аркадий Шапиро, Лена Ефимова, Майя Херц и я) все полагали, что выговор Мише или даже строгий выговор был бы неплохим решением, позволяющим обмануть гэбэшников и партийцев. Но, к сожалению, никто из нас не знал тогда, как эту мысль донести до всеобщего сознания. И мы надеялись, что беда как-то все-таки обойдет Мишу стороной.

Общее собрание слегка пожурilo Мишу и выразило свое неодобрение действиям бюро. Партийцы и гэбэшники не могли допустить, чтобы этот бунт остался безнаказанным. И тут все закрутилось с гораздо большей силой.

Ты, Сережа, пишешь, что «Миша Лейкин, конечно, не был антисоветчиком в полном смысле этого слова». Ну почему же так? Относительно существующих законов и порядков он был самым настоящим антисоветчиком. Он резко критиковал советских генсеков, считая одного из них преступником, а

другого негодяем (и, по всей видимости, преступником тоже). Советская власть была властью генсеков. И несогласие с их действиями являлось вполне определенной антисоветской позицией. Так что антисоветчиком Миша, безусловно, был. И партийцы и гэбэшники правильно это все поняли. И в соответствии с существовавшими тогда порядками и законами, действовали очень последовательно и логично.

Более того, мне кажется, что они даже смягчали Мишину вину. Ведь на самом деле, в соответствии с действующими советскими законами, он был преступником. Его действия подпадали под печальной известности статью уголовного кодекса об антисоветской агитации и пропаганде. Даже хранение запрещенной литературы трактовалось тогда властями как антисоветская агитация (наверное, самого себя). А Миша с его взглядами выступил в общественном месте. А в таком случае это уже без всяких натяжек являлось преступлением. И когда я, припираемый к стенке гэбэшниками, на вопрос «совместимы ли взгляды Лейкина с пребыванием в комсомоле» отвечал уклончиво, то я на самом-то деле откровенно врал. Потому что я был абсолютно уверен в том, что взгляды Миши Лейкина ни в коей мере не были совместимы с его «пребыванием» в комсомоле. И мои взгляды, и взгляды всех моих друзей тоже были несовместимы с пребыванием в комсомоле. Поэтому-то мы Мишу и защищали.

Ты, правда, Сережа, говоришь, что Миша Лейкин не был антисоветчиком в ПОЛНОМ СМЫСЛЕ этого слова (по-видимому, как ты его понимаешь). Ты, судя по всему, считаешь, что он не был последовательным в

своих убеждениях. И приводишь примеры его симпатий к кубинским революционерам и ленинградскому главарю коммунистов. И с этим я согласен. Но я бы добавил к сказанному тобой еще один существенный момент. Если бы Миша был антисоветчиком, таким, например, как я или мои товарищи (скажу осторожнее – некоторые из моих товарищей), то у него не было бы тех иллюзий, которыми он был полон. Миша думал, что советский социализм можно как-то подправить (если взяться дружно за руки). Поэтому не удивительно, что он готов был доверчиво играть в навязанные гэбэшниками игры. Вот на этом-то он, кстати, и погорел.

Как-то в одной из бесед о деле Лейкина (www.de.ufpe.br/~toom/scandals/leikin/OLGA.DOC) Андрей Тоом обронил такую фразу: «Ну, знаете, мы все были антисоветчиками».

Конечно, это звучит очень смешно. Сколько наших однокурсников могли бы сказать такое о себе в том далеком 1961 году? Каждый пятый? Очень в этом сомневаюсь. Каждый десятый? Может быть. Сколько из них действительно были идейными противниками советской власти? Думаю, что меньшинство.

Где-то в другом месте Андрей написал: «Все мы критиковали правительство». Хочется спросить Андрея, а за что все его критиковали? Кто-то критиковал его за то, что оно растеряло приобретения «великой» революции. А другой – за то, что оно распустило народ и дало ему слишком много свобод.

Многое из того, что звучало раньше антисоветски, сегодня оказывается по существу просоветским.

Подобная беда случилась с диссидентским движением в России. Но это уже совсем не по теме моего к тебе письма, Сережа.

Решение первого общего комсомольского собрания было признано недействительным. Кто его признал недействительным, я не помню (или не знал никогда). Я помню только, как это было объяснено всем нам. Собрание наше, мол, было закрытым. И, следовательно, при входе должны были проверяться комсомольские билеты. А поскольку такой проверки не было, значит, было налицо грубейшее нарушение устава комсомола.

Кажется, только в этот момент я стал осознавать серьезность положения. Или, лучше сказать, стали подтверждаться самые плохие мои опасения.

Мы стали встречаться с Мишей. Сочувствовали ему. Пытались дать какие-то советы. Так получилось, что мы с ним не были друзьями. Нас только на время сблизила вся эта кошмарная история. Все свободное время мы обсуждали разные детали либо с Мишей, либо между собой.

Напряжение на мехмате нарастало. Я заметил, что как только я подходил к Марику Мельникову и начинал с ним разговаривать, тут же около нас оказывался какой-то незнакомый нам человек.

Саша Олевский настоятельно советовал нам быть осторожнее. Он говорил: «Вы не понимаете, что вы делаете. Вас выгонят из университета». А мы ему говорили, мол, Саша, сейчас не те времена и все такое прочее. Но мы все-таки стали вести себя осторожнее. Мы уже не обсуждали ничего в коридорах мехмата. Уходили с мехматских этажей.

Во время всей этой истории с Мишей Лейкиным я думал вот о чем. Ведь у гэбэшников была трудная ситуация. Как они должны были инструктировать своих подопечных? Должны ли они были рекомендовать своим выступить против Миши? Но тогда выступающие раскрыли бы себя. С другой стороны, они не могли допустить, чтобы никто не выступал против. Следовательно, они должны были пожертвовать какой-то небольшой частью своих и раскрыть их.

Второй вопрос: должны ли были гэбэшники советовать своим выступить в защиту Миши? Ведь таким образом открывалась очень хорошая возможность поймать на удочку доверчивых простаков. Но в таком случае они не могли советовать отстаивать Мишины доводы, потому что тогда это была бы антисоветская пропаганда. Следовательно, они должны были советовать своим защищать Мишу либо без объяснения причин, либо как-нибудь путано и, наверное, с прямым или косвенным признанием его вины. Трудным моментом для гэбэшников в этом варианте было отсутствие санкций против «защитников». Видно, они надеялись, что если санкций не будет, никто не обратит на это внимания.

А может быть, они советовали своим просто сидеть тихо в засаде и не высовываться? Думаю, что все эти варианты гэбэшники прокручивали у себя. И мне кажется (и казалось так же тогда, осенью шестьдесят первого), что они использовали все три варианта.

Я помню, что открыто против Миши выступило только два человека – Алешин и Заславский. Это,

конечно, не означало наверняка, что они сотрудничали с гэбэшниками. Но такое подозрение на них в то время пало.

Я внимательно прислушивался к выступавшим так или иначе в Мишину защиту. Пытался поймать какие-то фальшивые ноты в их выступлениях. На самом деле, было не так уж трудно выделить искренние выступления в защиту Миши. Например, Бэла Беленькая на первом собрании встала и сказала, что все, мол, думают, как Миша, только никто не выступает открыто. Вот она была вне подозрений. Потому что такое подсказать гэбэшники не могли ни при какой погоде.

Валя Вулихман обратил мое внимание на выступление Бэлы. Он был им очень недоволен, полагая, что она таким образом как бы подставляла всю нашу компанию. А я его успокаивал и говорил, что мол, ничего такого конкретного «подставляющего» в ее выступлении не было. Но, конечно, соглашался с Валей, что лучше было бы ей помалкивать.

После первого общего собрания начались собрания по группам. Давление на нас было ужасное. В нашей группе «Теория функций и функциональный анализ» нам не дали даже рассестись за столами, как мы хотели. Мне показали стол, за который я должен был сесть. Тут же ко мне подсел какой-то молодой человек крепкого телосложения. Я думал тогда, что с нами сидели гэбэшники. Но по прочтении твоего воспоминания, Сережа, стал думать, что, может быть, это были представители завода «Серп и молот». А может, это были гэбэшники с завода «Серп и молот»?

О чем бы ни заходила речь на собрании, мой сосед тихонько спрашивал меня: «А какого вы лично мнения на этот счет?» И самым трудным был вопрос: «Как вы, лично вы, считаете – совместимы ли взгляды Лейкина с пребыванием в комсомоле?»

В конце концов вопрос об исключении Миши из комсомола был поставлен на голосование. Наша группа вся поголовно (так мне помнится) при голосовании воздержалась. Мотивировка была примерно такой: «Конечно, Миша был неправ. Но его исключение из комсомола будет означать исключение из университета. А поскольку он уже все осознал и во всем покаялся, то мы хотим, чтобы он остался в университете».

В этот момент Миша уже, кажется, действительно все осознал. В том смысле, что он осознал уже и свою доверчивость, и свою наивность, и всю опасность ситуации. Мы стали с ним обсуждать стратегию его поведения на повторном общем собрании. Миша стал читать нам свое покаянное письмо. Там были слова о том, что он с самого раннего детства терпел притеснения как еврей. Мы очень советовали ему вычеркнуть это. Мы считали это лишним унижением, которое к тому же может только еще более разозлить гэбэшников. Хотя, наверное, понимали, что ничто уже не может ни помешать готовящейся расправе, ни подтолкнуть ее. Миша сказал, что он вычеркнет эти слова из письма. Но он не сделал этого.

Саша Олевский все твердил нам: «Всех вас выгонят к чертовой матери. Вы не знаете, что тут было в пятьдесят шестом». Лена Ефимова передала Марику (не помню, были ли они уже мужем и женой тогда)

дружеское предупреждение от Николая Владимировича Ефимова о том, что строптивные студенты будут из университета отчислены.

Кстати, о роли Николая Владимировича в деле Лейкина. Андрей Тоом считает, что основной причиной всего дела было предполагаемое назначение (выборы) Николая Владимировича на должность декана нашего факультета. Вот доводы Андрея (www.de.ufpe.br/~toom/scandals/leikin/LEIKIN.DOC):

...надо сказать об истинной подоплёке этого дела. Это были годы правления Хрущёва. Общая либерализация коснулась и университетов и где-то в верхах было решено вернуться к практике выборов деканов факультетов, а не назначать их приказами сверху, как было все сталинские годы. Уже был намечен кандидат в деканы мех-мата, Николай Владимирович Ефимов – добрый и умный человек, хороший администратор, компетентный математик. Его специально пригласили из другого города и назначили заведующим кафедрой математического анализа. Парткому вся эта либерализация была поперёк горла и он ухватился за случай с Лейкиным и стал его раздувать.

В одном разговоре про дело Лейкина (www.de.ufpe.br/~toom/scandals/leikin/OLGA.DOC) Андрей добавил еще следующее:

Личность Лейкина их не интересовала, они хотели максимально раздуть скандал и сообщить властям – самому Хрущёву, - что на мехмате происходят

*антисоветские события. Хрущев был человек
взбалмошный, мог отменить выборы деканов. Вам с
Леной Ефимовой надо поговорить.*

Что это все означает? Ведь Андрей говорит о самом настоящем заговоре партийцев. Откуда Андрею известно об «истинной подоплеке» дела? От самих участников заговора? Маловероятно. От Лены Ефимовой или Николая Владимировича? А они тогда как к этому пришли? Может быть это предположение основано на какой-то логике событий и дедуктивных выводах Андрея, Лены или Николая Владимировича?

Я отношусь с большим уважением к аналитическим способностям каждого из них, но версия о выборах мне не кажется правдоподобной. И вот по каким причинам.

Всякий, кто говорит по-русски, не должен обманываться словом «выборы», когда речь идет о России. Для тех, кто не обратил внимания на то, как Андрей Тоом представлял себе выборы, я еще раз приведу здесь выдержку из его свидетельства: «...где-то в верхах было решено вернуться к практике выборов деканов факультетов... Уже был намечен кандидат в деканы мехмата, Николай Владимирович Ефимов... Его специально пригласили из другого города и назначили заведующим кафедрой математического анализа».

Все, что собирались сделать партийцы – это при заранее утвержденном в верхах «кандидате» отдать дань времени. Если их главный играл в либерализацию, то вместо назначения декана надо было провести выборы. Но кандидатура на пост декана должна была быть, конечно, только одна. То есть, может быть, были еще какие-то люди, формально

выдвинутые в кандидаты. Кто-то мог подать на конкурс по наивности. Кого-то могли подтолкнуть к этому. (Давай, мол, смелее – ты, конечно, в этот раз не пройдешь, но надо, чтобы люди тебя знали.) Как бы то ни было, но настоящий кандидат был один. И его кандидатура стандартным образом была заранее «согласована» во всех стандартных инстанциях.

Есть еще одна причина, по которой мне кажется утверждение Андрея Тоома весьма сомнительным. Мы знаем (должны знать), что кандидатура Ефимова партийцами была согласована. Тем не менее, предположим, что были какие-то партийные силы, которые не хотели видеть Николая Владимировича на посту декана. И вот они придумывают следующую многоходовую комбинацию. Пользуясь неосторожными выступлениями Миши Лейкина, раздувают все это в «дело». Сообщают кукурузнику об этом и советуют отменить выборы деканов в университетах. Кукурузник соглашается с ними и выборы отменяет.

Предположим даже, что все это им удалось. А что было бы дальше? А дальше Ефимов был бы не выбран, а просто назначен на пост декана.

Значит, надо тогда было что-то сделать с Ефимовым. Отравить? Написать на него донос? Это вполне возможно было от партийцев ожидать. Но зачем тогда были нужны такие сложности с делом Лейкина?

Были ли такие заговорщики? Удалось ли им сообщить на самый верх о деле Лейкина и найти там своих людей, близких к кукурузнику? Этого мы не знаем. Но мы знаем, что выборы не были отменены.

Выборы состоялись. И деканом факультета был избран (сюрприз!) Николай Владимирович Ефимов.

Но осенью шестьдесят первого Ефимов не был еще деканом. Однако что-то где-то слышать мог. Потому и предупредил по-дружески Марика, а через Марика и всех нас, об опасности.

Нашу компанию потянули на ковер к Слезкину, тогдашнему декану факультета. У Слезкина разговор был коротким и прямолинейно строгим. Всем велели вести себя хорошо. В противном случае грозили выгнать из университета.

Меня к Слезкину не вызывали. Я думаю, что ОНИ считали, что меня не надо было предупреждать, потому что я был уже в списке на выгон. Меня хотели выгнать из университета за полгода до этого события.

Весной того же года мне не поставили зачет по военному делу. Сначала я не придавал этому особого значения. Подучил немного электронные схемы, разобрался в колебательном режиме магнетрона и пошел сдавать во второй раз. И во второй раз зачет у меня принят не был. Тогда я засел за изучение военки серьезно. Но не смог сдать зачет ни с третьего, ни с четвертого раза.

Никто не понимал, что происходит. Мои знания по предмету уже после второй попытки были выше среднего. К пятой пересдаче я был уже на несколько голов выше любого другого из наших. Не потому, конечно, что я был способнее других в электронных схемах. А потому, что я все-таки потратил на это массу

времени. И я не думаю, что кто-то из наших потратил на подготовку более чем пару дней.

И в пятый раз зачет не был мне поставлен. Кто-то, видно, на меня стучал. И стучал довольно крепко.

Формально, без сданных зачетов студент до экзаменов не допускался. Но только с одним несданным зачетом такое разрешение, как правило, давалось. Начинались экзамены, и я пошел к инспектору. Просил его разрешить мне сдавать экзамены одновременно с моими очередными попытками сдать зачет по военному делу. Но инспектор, видно, был предупрежден и разрешения мне не дал. Через несколько дней я стал просить его снова. Он мне отказал в очень резкой форме.

Когда оставалось уже несколько дней до конца сессии, наш инспектор ушел в отпуск. Я воспользовался этим и пошел к его молодой заместительнице. Я ей сказал, что мне надо сдавать экзамены, а у меня нет зачета только по какой-то ерунде – по военной подготовке. Заместительница дала мне отрывной листок (кажется, это так называлось) без всяких раздумий. Это был первый, но не последний в моей жизни гэбэшный прокол, которым я воспользовался. И с того времени я только укрепился в том, что не надо верить расхожему мнению о том, что гэбэшники всеильны, что они знают все о нас и все у них схвачено, и что все мы у них под колпаком. Гэбэшниками работали не лучшие из нас, а худшие. И всеобщая безалаберщина непременно должна была быть и в их рядах, и в не меньшей степени. Надо было только верить в это и уж, по крайней мере, не давать им «легкий хлеб».

За пять следующих дней я сдал пять экзаменов. Последний – математический анализ – я сдавал вне сессии, уже в день пересдач, Михаилу Александровичу Крейнсу. Я ответил ему по билету. Потом ответил на дополнительные вопросы. Потом быстро решил все задачки, которые он мне дал. Крейнс был вполне удовлетворен моим ответом. Он сказал мне: «Молодец! Как же вы хорошо подготовились! Вы просто молодец!» И поставил тройку.

Здесь мехматская традиция (ставить отметки за ответ независимо от того, что студент сдавал экзамен в день пересдач) не сработала. До этого не сработала еще одна мехматская традиция, но уже в мою пользу. Я сдал зачет по математическому анализу в первом семестре Зое Михайловне Кишкиной с первого раза. А Зоя Михайловна первый зачет с первого раза не ставила никогда.

Зачет я сдавал восемь часов подряд, с десяти утра до шести часов вечера. До этого, правда, пришлось прорепетировать сдачу с Витей Фирсовым (мы сдружились с ним крепко еще в кружке Саши Олевского). Мы давали друг другу задачки и, не дожидаясь еще ответа, громко кричали: «Неправильно!» Потом все-таки выслушивали ответ и опять кричали: «Неправильно! Приходите в следующий раз!»

«Неправильно!» – могло означать, например, что на графике не были поставлены стрелочки на осях координат.

В третьем семестре Зоя Михайловна взяла реванш. Я безуспешно пытался сдать ей зачет несколько раз подряд. Наконец, Зоя Михайловна зачет мне все-таки

поставила. Это было уже поздним вечером, где-то на биофаке, в день накануне экзамена. Зоя Михайловна советовала мне пропустить экзамен, позаниматься хотя бы еще несколько дней и только тогда попытаться его сдать. «Вы понимаете, конечно, что если вы пойдете завтра, то получите неминуемую двойку?» – спросила она меня. «Конечно, понимаю», – ответил я.

Я все-таки пошел сдавать экзамен на следующий день. Получил у Николая Владимировича Ефимова пятерку. Зоя Михайловна тут же устроила ему небольшой, но громкий скандал за это. А я стал думать, не получить ли мне тройку в четвертом семестре, чтобы проверить еще одну мехматскую традицию: за математический анализ в диплом идет отметка по третьему семестру.

Кто бы мог подумать тогда, что эта тройка мне будет отпущена без моего на то желания. А мехматская традиция сработала: в диплом мне пошла пятерка Ефимова, которая перевесила последнюю тройку Крейнеса.

Зоя Михайловна относилась и ко мне, и к Вите Фирсову явно предвзято строго. Вите это не нравилось, и он мне несколько раз об этом говорил. А меня такое отношение Зои Михайловны к нам не обижало. Потому что за несколькими слоями чрезмерной строгости все-таки проглядывалась вполне определенная доброжелательность.

Как-то Зоя Михайловна изловила меня где-то в коридоре и сказала, что видела уже много таких, как я, которые думают, что их выручит багаж знаний.

Эта грань между тем, когда все дается легко, и тем, когда все становится слишком трудным, может быть

пройдена очень легко. Вы меня слышите? Да, Зоя Михайловна. Я предупреждаю вас по-дружески, чтобы вы эту грань не пропустили. Спасибо, Зоя Михайловна. Я очень боюсь за вас. Вас могут отчислить из университета. Вы меня поняли?

И вот когда мне не ставили зачет по военке, у меня мелькнула мысль: не об этом ли меня предупреждала Зоя Михайловна? Может быть, она что-то знала? Но если это так, то ее предупреждение было слишком уж завуалировано. Сейчас я думаю, что ничего такого «между строк» в ее предупреждении не было.

С одним несданным зачетом по военной подготовке выгонять меня было, видно, как-то нескладно. После седьмой попытки военное дело мне перенесли на осень. А осенью зачет у меня приняли с первого раза. Уж не знаю, почему. Может быть, потому что было слишком очевидно (и это знали уже все), что дело было не в моих знаниях.

Возвращаюсь к осени шестьдесят первого года. Настал день второго общего комсомольского собрания. Партийцы стали вести себя жестче. Кто-то из них вышел на трибуну и стал бить себя кулаком в грудь. «Ребята, – говорил он, – даю вам честное партийное слово...» Он стал клясться, что исключение Лейкина из комсомола не повлечет за собой автоматическое исключение из университета. Видно, партийцы и гэбэшники, наученные опытом собрания в нашей группе, хотели исключить возможность всяких отговорок. Они уже ставили вопрос ребром. И давали

ясно понять, что тот, кто не проголосует за исключение, будет уже сам первым кандидатом на выгон.

Все сомнения предлагалось решать прямолинейно, на основании простого тезиса – «партия всегда права». Придумал это еще давным-давно один из основоположников советской системы. Правда, он впоследствии сам засомневался в справедливости своего же тезиса. Но удар ледорубом по голове разрешил все его сомнения раз и навсегда.

Кто-то из наших тоже засомневался было в этом тезисе. Его доводы были такими: если сейчас уже известно, что партия ошибалась в прошлом, то как можно быть уверенным, что она не ошибается сейчас? Тут выступил Саша Горин и сказал примерно следующее. Мы должны считать, что партия всегда права и никакие примеры из прошлого не должны помешать этому. Это уже звучало совсем, как в пьесе Евгения Замятина: «Да если бы мне церковь сказала, что у меня только один глаз – я бы согласился и с этим, я бы уверовал и в это. Потому что хотя я и твердо знаю, что у меня два глаза, но я знаю еще тверже, что церковь – не может ошибаться».

Я пытался понять, что означает это Сашино выступление. Действительно ли он так думал? А может быть, он ерничал? И пытался с серьезным видом представить всем нам это утверждение в наиболее выпуклой форме, чтобы была явно видна его нелепость? Тогда я так и не понял, каково было истинное намерение Саши Горина. А сейчас я думаю, что, наверное, Саша пытался нам намекнуть, что мы поставлены в ситуацию, когда должны признать, что у нас один глаз. И ничего с этим, мол, не поделаешь.

Почти все подняли руку за исключение Миши из комсомола. Фактически всех заставили поднять руку, поставив перед нечеловеческим выбором. Ты, Сережа, дважды оказался на высоте: и тогда, в шестьдесят первом, когда проголосовал «против», и сейчас, когда отказался осуждать своих однокурсников, которые проголосовали «за».

Я сбежал с собрания перед самым началом голосования. Как только я спустился вниз и направился к выходу из аудитории, ко мне подбежал один из гэбэшников. А может быть, это был не профессиональный гэбэшник, а представитель завода «Серп и молот»? Он спросил, куда это, мол, я ухожу. Я сказал, что тороплюсь на репетицию оркестра. Он стал уговаривать меня вернуться на место, поскольку голосование должно было начаться с минуты на минуту. Слегка поприпирались. Он попросил меня сказать, какого я мнения обо всем и как я собирался голосовать. Я сказал, что тороплюсь и убежал.

На следующий день я узнал от своих какие-то подробности. Оказалось, что Андрей Тоом воздержался при голосовании за исключение. Это меня, признаться, удивило. Я был знаком с Андреем еще с университетского математического кружка. И мне как-то не приходило в голову говорить с ним открыто на политические темы, как я говорил, скажем, с другими кружковцами – Мариком Мельниковым, Валею Вулихманом, Витей Фирсовым, Володей Сафро. Это не значит, что я побаивался говорить об этом. Просто мне это никогда не приходило в голову. А тут получилось

так, что Андрей не только оказался в оппозиции к властям, но и смог позволить себе открыто выступить против них в самый опасный и напряженный момент.

Андрей Тоом говорит по этому поводу так (www.de.ufpe.br/~toom/scandals/leikin/LEIKIN.DOC):

Мысленно подводя для себя итоги всей этой истории, я самому себе не понравился. Уж очень я был промежуточный – и нашим и вашим и пятым и десятым.

Что здесь можно сказать о его заявлении? Ну, с художественных позиций оно звучит как-то кривовато. (Кстати, я не правлю нигде в моем письме незначительные грамматические огрехи в цитатах.) Но на самом деле Андрей поступил довольно смело на нашем втором общем собрании.

Андрею повезло. Никаких репрессивных действий против него, насколько я знаю, предпринято не было. Его даже после этой истории включили в новое бюро комсомола и назначили ответственным за агитацию и пропаганду.

А вот еще одно свидетельство – из твоих воспоминаний, Сережа. На сей раз твоего друга Саши Воловика.

Я, собственно, как-то тогда не особенно вник в это дело, Лейкина я почти не знал и не очень понимал, как себя вести. С одной стороны, я думал, что раз Лейкин сказал, что готов выйти из комсомола, то, может быть, и надо, чтобы он вышел оттуда. Но с другой

стороны, я понимал, что у него от этого будут дополнительные неприятности (об исключении из МГУ я тоже думал, несмотря на заверения начальства, что исключения не будет). Короче, я не знал, что делать и в обоих голосованиях воздержался.

Что это такое? Неужели Саша даже ко второму собранию не осознал, что Мишино заявление о готовности выйти из комсомола было сделано им, во-первых, сторяча, а во-вторых, по непростительной наивности? Неужели не было ясно в тот момент, что идет борьба за то, чтобы уберечь Мишу от готовящейся расправы?

Неужели Саша не осознавал, что его воздержание при голосовании не означало, что он «не знал, что делать»? Вот если бы он так объяснял свой поступок гэбэшникам – это я бы вполне понял. Это означало бы, что Саша никак не хотел голосовать за исключение, но боялся ответных репрессий. Поэтому он решил прикинуться утюгом, делал вид, что не понял принципиальной позиции партийцев и нес всякую околесицу про то, что не знал, мол, что делать, вот и воздержался.

А может быть, Саша действительно не «врубился» в то, что происходило? По его же свидетельству, он тоже был способен к наивным поступкам. Я имею в виду рассказанную им историю о том, как ему на выпускных экзаменах снизили оценку за сочинение из-за неосторожно сказанных когда-то слов. Может быть, Саша не вполне понимал, что происходит, поскольку для него самого подобная история закончилась сравнительно благополучно?

Кстати, Саша об этом экзамене пишет так: «Сочинение было по Маяковскому, которого я и тогда уже любил и считал лучшим поэтом. Как и сейчас». Ну, если Маяковский для Саши был и остается лучшим поэтом, то хочется задать ему, как говорили мы когда-то на мехмате, контрольный вопрос. Про того же Маяковского. «Является ли безразличие к его произведениям преступлением?» (Вопрос шутливый – прошу не обижаться.)

Твое, Сережа, описание последующих событий на мехмате осенью 1961 года таково:

На следующий день мы узнали, что вузком обратился к ректору Петровскому с ходатайством об исключении Лейкина из университета. Это сообщение повергло Мишу в отчаяние. Он решил объявить голодовку. С этой целью Миша сложил в конверт все деньги, оставшиеся от стипендии и отнес их в вузком с просьбой передать их рабочим завода «Серп и молот», которые посчитали, что он учится якобы на их средства.

Мы уговаривали Мишу прекратить эту бессмысленную и бесполезную акцию.

Ну, что можно сказать об этом поступке Миши? Был ли он «бессмысленным и бесполезным»? Я так не думаю. Как раз вот это Мишино действие мне нравится больше всего во всей этой нелепой и ужасной истории. И воспоминание о нем всякий раз вызывает у меня горькую улыбку.

Начальство, видно, было Мишиной голодовкой серьезно обеспокоено. И пыталось подобраться к нему с

разных сторон. Об одной такой попытке мы знаем теперь (из твоего воспоминания, Сережа) со слов Толи Терехина, Мишиного товарища по комнате в студенческом общежитии. Толе дали «комсомольское поручение» – проследить, чтобы с Мишей не случилось ничего плохого.

О другой попытке мне рассказал недавно Марик Мельников (со слов самого Миши). В какой-то момент Мишу посетил сам Павел Сергеевич Александров (Пуся) – наш главный академик, просил прекратить голодовку и обещал через год восстановить Мишу на мехмате. Через год Миша захотел с Пусей встретиться. Но Пуся не удостоил его аудиенции.

Мне помнится, что Мишу формально выгнали из университета за неуспеваемость (кто-то мне так сказал тогда). Лишили допуска к секретам на военной кафедре. Поэтому он не мог сдавать ни зачет, ни экзамен по военной подготовке. И поэтому-то и был отчислен за неуспеваемость. (Почти как Веничка Ерофеев.)

Тогда я сразу принял такое объяснение на веру, поскольку я очень хорошо понимал, что властям было проще всего договориться обо всем с военной кафедрой.

Так или иначе, но Мишу из университета исключили. Ходили слухи, что он был отправлен куда-то «на перевоспитание» в рабочую среду. И вот через несколько лет после этой истории я совершенно неожиданно встретил Мишу где-то в центре Москвы на улице. Я был ужасно рад видеть его. Стал

расспрашивать. И тут он мне сказал: «А я опять стал краснокожим!» Я почему-то не сразу понял, что он имел в виду. Переспросил. Тогда он мне показал свой новый комсомольский билет.

Мне было очень приятно слышать такие слова от Миши. Ведь кто знает, как могли подействовать на него все эти годы «перевоспитания». Не подействовали. Недаром, по свидетельству Андрея Тоома (www.de.ufpe.br/~toom/scandals/leikin/OLGA.DOC), рабочие даже после нескольких лет «перевоспитания» не давали Мише необходимую для поступления в университет рекомендацию. Они не верили в его искренность.

Ты, Сережа, описываешь очень похожий эпизод. Тоже о том, как ты встретился с Мишей спустя несколько лет. И как Миша дал тебе дотронуться до комсомольского значка. Но мне кажется, что ты не до конца разобрался в отношении к этому событию самого Миши или не очень отчетливо отразил это на бумаге.

Тут же ты вспоминаешь недавний разговор с Мишей о «нашумевшей истории с его исключением» и пишешь, что «в его голосе не чувствовалось какого-либо озлобления».

Я, возможно, не обратил бы внимания на это слово – «озлобление», если бы не слышал его так часто в рассказах тех, кто живет сейчас в России о тех, кто Россию покинул.

О том, кто не отзываясь о России отрицательно, говорят, что этот человек не озлоблен. Это значит, что человек этот, хоть и покинул Россию, но не помнит зла. Это хорошо. Ну что, мол, без толку ворошить прошлое. Что было, то было. А о том, кто отзываясь о России

плохо, говорят, что этот человек озлоблен. Слово это само по себе несет явно выраженный негативный оттенок. И у кого-то может возникнуть образ неуравновешенного человека с перекошенным от злости лицом. А кто-то может подумать даже, что этот человек нуждается в психиатрической помощи.

Мне не нравится здесь то, что вместо безоговорочного осуждения ужасов советского и постсоветского тоталитаризма, обсуждение переносится на степень реакции на это человека. А ведь я нашел в твоих воспоминаниях, Сережа, во многом очень правильные слова о покаянии:

Конечно, дозированное разоблачение злодеяний сталинизма, отпущенное сверху в хрущёвский период, не изменило политической атмосферы и по-прежнему не допускалась правовая или моральная ответственность наследников тоталитаризма. Не могло быть и речи о покаянии властей. Переворот в самосознании народа Германии после ужасов нацизма, очищение от практики расизма в США, начатое Мартиным Лютером Кингом и другие перемены – всё это не послужило животворящими примерами для наших политиков.

Да, народ Германии покаялся безоговорочно. Мы не услышим от немцев (по крайней мере, в массе) ничего похожего на такое, например: «Гитлер, конечно, был злодеем, но он поднял на небывалую высоту экономику Германии». Или: «Конечно, Германия в середине прошлого века была явным агрессором. Но Советский Союз тоже захватывал чужие территории». Или: «Я говорил недавно с одним своим коллегой, евреем,

родители отца которого были вынуждены покинуть Германию в тридцатые годы. Конечно, он считал это беззаконием, но в его голосе не чувствовалось какого-либо озлобления».

Мне кажется, что сейчас тот, кто говорит по-русски, должен обращать свое внимание в первую очередь на внутренние проблемы России прошедшего и настоящего времени. Вот поэтому и показалось мне подозрительным проскользнувшее у тебя это сомнительное слово «озлобление». (Оно мне, кстати, напомнило один давний разговор с моим знакомым о человеке, которого мы оба знали. «Смотри, – сказал мне мой знакомый, – просидел четырнадцать лет в лагерях и не озлобился. Молодец!»)

Однако несмотря ни на что, мне кажется, что ты, Сережа, думаешь в этом вопросе о покаянии примерно так же, как я. И все-таки должен сказать тебе, что на одну доску с ужасами нацизма могут быть поставлены только ужасы советского режима. Если ты хочешь найти параллель расизму в США, то его можно сравнивать с расизмом в России (в частности того типа, который поддерживался Садовничим и ему подобными). К сожалению, Америка и Россия идут в этом отношении в противоположных направлениях. Я приведу здесь два «свежих» примера. И поскольку письмо мое о мехмате, то и примеры тоже будут мехматские.

Вот слова математика Владимира Арнольда, сказанные им публично, на парламентских слушаниях в Государственной думе России (www.scepsis.ru/library/id_651.html):

Джефферсон опубликовал в 1781 году свое заключение, что «ни один негр никогда не поймет ни геометрию Евклида, ни кого-либо из его современных толкователей». А Джефферсон, отец-основатель и автор Декларации независимости, знал, о чем говорил: у него было несколько детей-негрятят и он пытался их обучать.

Трудно поверить, что такие слова могли быть сказаны в наше время (да еще с высокой трибуны). В этой речи, правда, многое удивительно. Например, вот такой пассаж об образовании:

Большинство американских университетских студентов складывают числители с числителями и знаменатели со знаменателями складываемых дробей: $1/2 + 1/3$ есть, по их мнению, $2/5$. Обучить после такого «образования» думать, доказывать, правильно рассуждать никого уже невозможно, население превращается в толпу, легко поддающуюся манипулированию со стороны ловких политиков без всякого понимания причин и следствий их действий.

Все это делается не по невежеству, а, как мне объяснили мои американские коллеги, сознательно, просто по экономическим причинам: приобретение населением культуры (например, склонности читать книги) плохо влияет на покупательную способность в их обществе потребителей, и вместо того, чтобы ежедневно покупать новые стиральные машины или автомобили, испорченные культурой граждане начинают интересоваться стихами или музыкой,

картинами и теоремами и не приносят хозяевам общества ожидаемого дохода.

Если бы я не знал, кто и когда это сказал, я бы предположил, что это выдержка из газеты «Правда» середины прошлого века.

Еще один пример (тоже к рассуждениям о расизме, но еще больше – о покаянии). Совсем недавно раздел Википедии на русском языке в статье о Садовничем содержал ссылку на то, что в ту пору, когда он занимал ответственные посты в приемных комиссиях, проводилась дискриминационная политика против абитуриентов-евреев. Сейчас эта ссылка изъята из статьи. К сожалению, это не какой-то особый или единичный случай. Это, скорее, отражает общее настроение в России. Так что и в этом смысле Россия пока еще далека от покаяния. И, следовательно, пока идет назад – к террору и беззаконию.

Хочу еще сказать несколько слов по поводу твоего, Сережа, сравнения молодежи прежних лет с молодежью нынешней:

Лишь в последние годы атмосфера в студенческой среде, как и во всем обществе, резко изменилась. Все чаще проявляются чувства эгоизма, индивидуализма и даже меркантилизма, чуждые комсомольской молодежи середины прошлого века.

При этом ты ссылаешься на собственный опыт. Первая ссылка относится к шестидесятым годам:

...первой предложила мне помощь комсорг группы Юля Толстова. Она не только сама читала вслух и диктовала задания для записи по системе Брайля, но привлекла к шефской работе и других студентов группы. Вокруг меня образовался круг надёжных людей: жизнерадостный Саша Воловик, рассудительный Валя Купцов, вдумчивый Виталий Федорчук, обаятельная Галя Григорова и другие ребята, которым я бесконечно благодарен по сей день.

А вот ссылка на недавнее время:

Лет 10 назад я впервые оказался в неудобной ситуации. Перед одной из своих лекций я обратился к отлично успевающей студентке с просьбой помогать мне записывать на доске необходимые формулы. На сей раз я получил решительный отказ. Эта девушка пояснила мне, что такого рода работа не входит в ее обязанности.

Что ты хочешь этим сказать, Сережа? Вряд ли ты думаешь, что нынешняя молодежь генетически хуже прежней. Ведь в разных ситуациях люди проявляют себя по-разному.

Отказалась бы эта «отлично успевающая студентка» помогать тебе в шестидесятых? Не знаю. Но уж если бы даже и отказалась, то не была бы так цинична в своем отказе.

Или наоборот. Как повел бы себя в другой ситуации, скажем, «вдумчивый Федорчук», которого ты вспоминаешь словами благодарности за оказанную тебе помощь? Если бы, например, его действия не

засчитывались никем как общественная работа, помог бы он тогда товарищу по курсу? Протянул бы он ему руку помощи?

Вот Марик Мельников мне рассказал такую историю. В 1989 году он получил приглашение из университета Барселоны. Его звали туда читать лекции. Бумага с приглашением по существующим тогда порядкам должна была пройти партийный надзор. А в партийцах тогда уже крепко сидел наш «вдумчивый Федорчук». Бумага пошла в почту и ... пропала. Нашлась она там только через шесть месяцев. Движения по ней так никогда никакого и не было предпринято.

А нужно ли мне тебя, Сережа, убеждать в том, что вряд ли могут произойти серьезные генетические изменения в человеке за такой непродолжительный промежуток времени? Наверное, не нужно. Но тогда получается, что ты неявно утверждаешь, что окружающая общественная среда похудшала?

Не буду с тобой спорить по этому вопросу. Многие считают, что хуже среды, чем она была при советской власти, не было еще в истории человечества и, скорее всего, не будет. Я тоже так считаю. Но ты неявно сравниваешь с нынешним периодом довольно узкий и определенный период советской власти – шестидесятые годы. И в сравнении с этим периодом, конечно, уже появляются большие сомнения. Однако в любом случае я никогда не стал бы говорить какие-то восторженные слова в целом о «молодежи середины прошлого века».

Мне часто случается проходить мимо памятника Гертруде Стейн в Брайант парке Нью-Йорка. (Я работаю там поблизости – на 42-ой улице, между Таймс-сквер и Нью-Йоркской публичной библиотекой.) И каждый раз мне приходят на память ее слова о потерянном поколении. Мне кажется, что слова эти, хоть и сказанные совсем по другому поводу, как нельзя лучше подходят ко всему нашему поколению, в том числе, и к комсомольцам середины прошедшего века.

Вина советской власти перед своим народом не только в том, что она физически истребляла свое население. Ее вина также в том, что она калечила души всех живущих на ее земле. «Комсомольская молодежь середины прошлого века» жила среди кривых зеркал, Сережа. Она читала одобренные партийцами книги, слушала их любимую музыку, занималась их любимыми видами спорта. Она шумно праздновала 7 ноября, 23 января, 8 марта, 1 мая и ставила у себя рождественскую елку на Новый год. Она принимала бандитизм за романтику, отвагу за предательство, порабощение народов за их освобождение, гибель десятков миллионов людей за великую победу и, удовлетворенная свершенными подвигами, пела у ночного костра: «Бригантина поднимает паруса».

Кстати, индивидуализм, который тебе, Сережа, так не нравится, это, с одной стороны, вера в собственные силы, а с другой стороны – моральная позиция, состоящая в том, что естественные права человека (включающие права на независимость и свободу) имеют высшую ценность. Я, например, отношусь к проявлениям индивидуализма с почтением.

Коммунисты всякий индивидуализм душили. Индивидуальное мастерство не приветствовалось даже в футболе и хоккее. Индивидуальный труд карался по всей строгости советского закона. А ты, Сережа? Действительно ли ты сожалеешь, что у нынешней молодежи «проявляются чувства индивидуализма»? Или это просто описка, навязанная советским штампом?

И, наконец, последняя цитата из твоих воспоминаний, Сережа. И последнее мое возражение.

Как-то раз возник спор о роли комсомола в строительстве светлого будущего. Некоторые утверждали, что ленинские принципы после XXII съезда восторжествовали и для комсомольцев открываются блестящие возможности проявить себя.

Оглядываясь назад, с этим тезисом нельзя не согласиться.

Какие принципы первого коммунистического управителя восторжествовали? Его единственным принципом была полная беспринципность в кровавой расправе над своим народом.

О каком светлом будущем ты говоришь, Сережа? Тем более, оглядываясь назад!?

Конечно, Россия должна будет когда-то обрести свое светлое будущее. Это не случится сегодня или завтра. Не случится это и через двадцать или пятьдесят лет. Но должен сказать тебе, Сережа, что я – оптимист. (По крайней мере, я считаюсь оптимистом среди своих

друзей в оценке российских событий.) И я верю (мне хочется верить), что уже в следующем веке Россия в семье народов Земли станет полноправным развивающимся государством с человеческими правовыми основами.

На этом положительном моменте моего письма я хочу, Сережа, поставить точку. И пожелать тебе и всем нам, однокурсникам, спокойной, насыщенной радостями и, по возможности, лишенной огорчений жизни на все уготовленное нам судьбой время.

Слава Бродский
Миллбурн, Нью-Джерси
30 марта 2010 года